

Почитаем Толстого

В первой заметке о сегодняшних впечатлениях, названной «В мире штормит», уже обращено внимание на то, что исламистские жестокости вряд ли могут нами восприниматься как совсем уж экзотика: вполне благополучные страны изведали разного рода ужасные события в самом недалёком прошлом. В связи с темой о жестокости возникает, вероятно, более узкая, но для некоторых обществ крайне актуальная тема:

уродливое функционирование пенитенциарной системы.

Для этой темы, как и для многих других, исключительно интересны наблюдения и мнения Л.Н. Толстого. Его последний роман «Воскресенье» закончен в 1899 году и посвящён совершенствованию личности в процессе встречи с пенитенциарной системой России конца позапрошлого века, с руководителями и чиновниками этой системы, а также и с её узниками. Главный герой романа Нехлюдов вслед за Толстым глубоко вник в сущность этой системы, с самого её верха до самого низа, и люди системы, их поступки и окружающие обстоятельства представлены, не говоря о мастерстве, столь наблюдательно, так детально, как встречается далеко не во всяком журналистском очерке. Как же важно было прочитать этот роман современникам, если и сейчас, в удалении более, чем на столетие, от событий романа, на столетие, переполненное великими ужасными событиями, это текст Толстого читается так, как будто он написан только что и имеет к сегодняшней жизни самое непосредственное касательство..

Надо сказать, в обращении к пенитенциарной системе Толстой был не одинок. Видимо, эта тема тогда сильнейшим образом волновала общественность, в особенности же самая возмутительная сторона этой системы – российская каторга. Например, за несколько лет до него (в 1890 году) А.П. Чехов не жалея сил внимательнейше обследовал каторгу на острове Сахалин и через пару лет выпустил путевые заметки "Остров Сахалин". В 1897 году В.М. Дорошевич предпринял путешествие на Сахалин и свои впечатления опубликовал в 1903 году в книге очерков «Каторга».

Напомню: Дорошевич – исключительно точный и остроумный журналист, он писал короткими энергичными фразами, почти афоризмами; его статьями, фельетонами не наслаждался только не умеющий читать, они и сегодня интересны, многие ещё и актуальны.

Толстой же крайностей каторги совсем не касается, его персонажей судят, держат по тюрьмам и пересылкам, ещё только тащат на каторгу. Тем не менее он раскрывает общественное явление не только значительно шире других, он гневен, и его герой Нехлюдов на путях библейской человечности ищет выхода из понятия им громадного ужаса.

Позволю себе процитировать несколько фрагментов из третьей части романа и осмелюсь прокомментировать их.

Состояние дела

Так Нехлюдов видит состояние дела (разд. XIX третьей части):

«То, что в продолжение этих трёх месяцев видел Нехлюдов, представлялось ему в следующем виде: из всех живущих на воле людей посредством суда и администрации отбирались самые нервные, горячие, возбудимые, даровитые и сильные и менее, чем другие, хитрые и осторожные люди, и люди эти, никак не

более виновные или опасные для общества, чем те, которые оставались на воле, во-первых, запирались в тюрьмы, этапы, каторги, где и содержались месяцами и годами в полной праздности, материальной обеспеченности и в удалении от природы, семьи, труда, то есть вне всех условий естественной и нравственной жизни человеческой. Это во-первых. Во-вторых, люди эти в этих заведениях подвергались всякого рода ненужным унижениям — цепям, бритым головам, позорной одежде, то есть лишались главного двигателя доброй жизни слабых людей — заботы о мнении людском, стыда, сознания человеческого достоинства. В-третьих, подвергаясь постоянной опасности жизни, — не говоря уже об исключительных случаях солнечных ударов, утопления, пожаров, — от постоянных в местах заключения заразных болезней, изнурения, побоев, люди эти постоянно находились в том положении, при котором самый добрый, нравственный человек из чувства самосохранения совершает и извиняет других в совершении самых ужасных по жестокости поступков. В-четвертых, люди эти насильственно соединялись с исключительно развращёнными жизнью (и в особенности этими же учреждениями) развратниками, убийцами и злодеями, которые действовали, как закваска на тесто, на всех ещё не вполне развращённых употреблёнными средствами людей. И, в-пятых, наконец, всем людям, подвергнутым этим воздействиям, внушалось самым убедительным способом, а именно посредством всякого рода бесчеловечных поступков над ними самими, посредством истязания детей, женщин, стариков, битья, сечения розгами, плетью, выдавания премии тем, кто представит живым или мёртвым убежавшего беглого, разлучения мужей с жёнами и соединения для сожительства чужих жен с чужими мужчинами, расстреливания, вешания, — внушалось самым убедительным способом то, что всякого рода насилия, жестокости, зверства не только не запрещаются, но разрешаются правительством, когда это для него выгодно, а потому тем более позволено тем, которые находятся в неволе, нужде и бедствиях.

Все это были как будто нарочно выдуманнные учреждения для произведения сгущённого до последней степени такого разврата и порока, которого нельзя было достигнуть ни при каких других условиях, с тем чтобы потом распространить в самых широких размерах эти сгущённые пороки и разврат среди всего народа. «Точно как будто была задана задача, как наилучшим, наивернейшим способом развратить как можно больше людей», — думал Нехлюдов, вникая в то, что делалось в острогах и этапах. Сотни тысяч людей ежегодно доводились до высшей степени развращения, и когда они были вполне развращены, их выпускали на волю, для того чтобы они разносили усвоенное ими в тюрьмах развращение среди всего народа.

В тюрьмах — Тюменской, Екатеринбургской, Томской и на этапах Нехлюдов видел, как эта цель, которую, казалось, поставило себе общество, успешно достигалась. Люди простые, обыкновенные, с требованиями русской общественной, крестьянской, христианской нравственности, оставляли эти понятия и усваивали новые, острожные, состоящие, главное, в том, что всякое поругание, насилие над человеческою личностью, всякое уничтожение её позволено, когда оно выгодно. Люди, пожившие в тюрьме, всем существом своим узнавали, что, судя по тому, что происходит над ними, все те нравственные законы уважения и сострадания к человеку, которые проповедываются и церковными и нравственными учителями, в действительности отменены, и что поэтому и им не следует держаться их. Нехлюдов видел это на всех знакомых ему арестантах: на Фёдорове, на Макаре и

даже на Тарасе, который, проведя два месяца на этапах, поразил Нехлюдова безнравственностью своих суждений. Дорогой Нехлюдов узнал, как бродяги, убегая в тайгу, подговаривают с собой товарищей и потом, убивая их, питаются их мясом. Он видел живого человека, обвинявшегося и признавшегося в этом. И ужаснее всего было то, что случаи людоедства были не единичны, а постоянно повторялись.

Только при особенном культивировании порока, как оно производится в этих учреждениях, можно было довести русского человека до того состояния, до которого он был доведён в бродягах, предвосхитивших новейшее учение Ницше и считающих все возможным и ничто не запрещённым и распространяющих это учение сначала между арестантами, а потом между всем народом.

Единственное объяснение всего совершающегося было пресечение, устрашение, исправление и закономерное возмездие, как это писали в книгах. Но в действительности не было никакого подобия ни того, ни другого, ни третьего, ни четвёртого. Вместо пресечения было только распространение преступлений. Вместо устрашения было поощрение преступников, из которых многие, как бродяги, добровольно шли в остроги. Вместо исправления было систематическое заражение всеми пороками. Потребность же возмездия не только не смягчалась правильными наказаниями, но воспитывалась в народе, где её не было.

«Так зачем же они делают это?» — спрашивал себя Нехлюдов и не находил ответа.

И что более всего удивляло его, это было то, что все делалось не нечаянно, не по недоразумению, не один раз, а что все это делалось постоянно, в продолжение сотни лет, с той только разницей, что прежде это были с рваными носами и резаными ушами, потом клеймённые, на прутах, а теперь в наручниках и движимые паром, а не на подводках.»

Комментарий о пытках и курьёз Дорошевича

Судя по многочисленным публикациям последних лет, наверное, практически тот же текст Толстой мог бы написать и о сегодняшнем состоянии этих дел в России. Разве что исчезли бы отмеченные мною в тексте *полная праздность, материальная обеспеченность, цепи, бритые головы, сечение розгами, плетью*. Что имел в виду Толстой под *полной праздностью*, не понятно, ведь каторга это каторжные работы. И о ценности ему современной *материальной обеспеченности* судить не могу. Исчезновение же прочих издевательств столь же прекрасно, как отвратительно появление новых. Бросаются в глаза бесчисленные сообщения о моральных и физических пытках: тут множество ступеней от манипуляций сроками заключения и свиданий до садистских издевательств и избиений, которые выполняют как служащие системы, так и натравливаемые ими заключённые.

О пытках опубликовал замечательный очерк уже упомянутый Дорошевич. Пересказывать Дорошевича бессмысленно. Вот начало очерка «Пытки» (цитируется по В.М. Дорошевич, Рассказы и очерки, Московский рабочий, 1966, где дана ссылка на Собрание сочинений, том IX, Судебные очерки, 1907):

«Существуют ли у нас пытки?

Речь идёт не о «рижских застенках».

Я говорю о «правосудии», а не о «расправе».

Речь идёт «о временах мирных».

— Существуют ли у нас в обыкновенное время в уголовных делах пытки?

Всякий судейский с негодованием ответит:

– Пытки в России уничтожены ещё в конце XVIII века.

А вот что отвечают факты.»

Далее описан целый ряд нешуточных пыточных историй и среди них курьёзный случай пыток на стадии, так сказать, дознания, производимого с высоты бесконтрольной вседозволенности:

«...это было в участке, в Николаеве, сейчас же после еврейского погрома.

Пристав любезно давал мне «сведения» и сам же предложил мне присутствовать при допросе:

– Мы этих мерзавцев не покрываем!

На третий день действительно уже не покрывали.

Пристав сидел за столом.

Перед ним в числе письменных принадлежностей лежала нагайка.

Вводят «задержанного».

– Имя, звание, фамилия. Бил жидов?

Ответ у всех один, слово в слово:

– Помилте, Ваше высокоблагородие! Что я? Жидов, что ли, не видал, чтоб их дуть? Не махонький.

– Как же попал?

– Иду я, стало быть. Улицей. Праздник – гуляю. Гляжу, – озорничают. Остановился поглядеть. А в этот момент из-за уголышка казаки. Да в нагайки. Тут меня с прочими наравне в участок и загнали.

– Повернись.

– Ась?

– Спиной встань.

Мужик с недоумением поворачивается спиной.

– На дверь смотри.

– Смотрю.

Пристав вставал и нагайкой вдоль спины отпускал такой удар, что у мужика вырывался вопль нечеловеческий. Человека всего корёжило.

– Пшёл. Говоришь правду. Следующего.»

Повторяется та же процедура, затем:

«Удар. Крик. Но уже не таким благим матом. И нет тех корчей.»

Оказывается, у него надето две рубашки.

«Под ней третья. Под ней ещё одна или две шерстяные вязаные.

– Слоёный! Ты чего ж так вырядился?»

Последовал типичный неубедительный ответ и решение:

«– Ладно. Рассказывай своей бабушке. Задержать. Громила. Следующий.»

Объяснение пристава:

«– Идёт на погром, – побольше рубашек на себя надевает. Будут казаки плетью бить, – чтоб не так больно. <...> У меня удар, – гвозди пополам перешибаю. <...> Система такая, – добываю голос.»

К идее всепрощения

Нехлюдов ищет выход из пенитенциарного кошмара (разд. XIX третьей части):

«Рассуждение о том, что то, что возмущало его, происходило, как ему говорили служащие, от несовершенства устройства мест заключения и ссылки и что это все можно поправить, устроив нового фасона тюрьмы, — не удовлетворяло Нехлюдова, потому что он чувствовал, что то, что возмущало его, происходило не от более или менее совершенного устройства мест заключения. Он читал про усовершенствованные тюрьмы с электрическими звонками, про казни электричеством, рекомендуемые Тардом, и усовершенствованные насилия ещё более возмущали его.

Возмущало Нехлюдова, главное, то, что в судах и министерствах сидели люди, получающие большое, собираемое с народа жалованье за то, что они, справляясь в книжках, написанных такими же чиновниками, с теми же мотивами, подгоняли поступки людей, нарушающих написанные ими законы, под статьи и по этим статьям отправляли людей куда-то в такое место, где они уже не видали их и где люди эти в полной власти жестоких, огрубевших смотрителей, надзирателей, конвойных миллионами гибли духовно и телесно.

Узнав ближе тюрьмы и этапы, Нехлюдов увидел, что все те пороки, которые развиваются между арестантами: пьянство, игра, жестокость и все те страшные преступления, совершаемые острожниками, и самое людоедство — не суть случайности или явления вырождения, преступного типа, уродства, как это на руку правительствам толкуют тупые учёные, а есть неизбежное последствие непонятого заблуждения о том, что люди могут наказывать других. Нехлюдов видел, что людоедство начинается не в тайге, а в министерствах, комитетах и департаментах и заключается только в тайге; что его зятю, например, да и всем тем судейским и чиновникам, начиная от пристава до министра, не было никакого дела до справедливости или блага народа, о котором они говорили, а что всем нужны были только те рубли, которые им платили за то, чтобы они делали все то, из чего выходит это развращение и страдание. Это было совершенно очевидно.

«Так неужели же и это все делалось только по недоразумению? Как бы сделать так, чтобы обеспечить всем этим чиновникам их жалованье и даже давать им премию за то, чтобы они только не делали всего того, что они делают?» — думал Нехлюдов.»

Идея всепрощения выражена так (разд. XXVIII третьей части):

«Все то страшное зло, которое он видел и узнал за это время и в особенности нынче, в этой ужасной тюрьме, все это зло, погубившее и милого Крыльцова, торжествовало, царствовало, и не виделось никакой возможности не только победить его, но даже понять, как победить его.»

«И с Нехлюдовым случилось то, что часто случается с людьми, живущими духовной жизнью. Случилось то, что мысль, представлявшаяся ему сначала как странность, как парадокс, даже как шутка, все чаще и чаще находя себе подтверждение в жизни, вдруг предстала ему, как самая простая, несомненная истина. Так выяснилась ему теперь мысль о том, что единственное и несомненное средство спасения от того ужасного зла, от которого страдают люди, состояло только в том, чтобы люди признавали себя всегда виноватыми перед Богом и потому не способными ни наказывать, ни исправлять других людей. Ему ясно стало теперь, что все то страшное зло, которого он был свидетелем в тюрьмах и острогах, и спокойная самоуверенность тех, которые производили это зло, произошло только оттого, что люди хотели делать невозможное дело: будучи злы, исправлять зло.

Порочные люди хотели исправлять порочных людей и думали достигнуть этого механическим путём. Но из всего этого вышло только то, что нуждающиеся и корыстные люди, сделав себе профессию из этого мнимого наказания и исправления людей, сами развратились до последней степени и не переставая развращают и тех, которых мучают. Теперь ему стало ясно, отчего весь тот ужас, который он видел, и что надо делать для того, чтобы уничтожить его. Ответ, которого он не мог найти, был тот самый, который дал Христос Петру: он состоял в том, чтобы прощать всегда всех, бесконечное число раз прощать, потому что нет таких людей, которые бы сами не были виновны и потому могли бы наказывать или исправлять.

«Да не может быть, чтобы это было так просто», — говорил себе Нехлюдов, а между тем несомненно видел, что, как ни странно это показалось ему сначала, привыкшему к обратному, — что это было несомненное и не только теоретическое, но и самое практическое разрешение вопроса. Всегдашнее возражение о том, что делать с злодеями, — неужели так и оставить их безнаказанными? — уже не смущало его теперь. Возражение это имело бы значение, если бы было доказано, что наказание уменьшает преступления, исправляет преступников: но когда доказано совершенно обратное, и явно, что не во власти одних людей исправлять других, то единственное разумное, что вы можете сделать, это то, чтобы перестать делать то, что не только бесполезно, но вредно и, кроме того, безнравственно и жестоко. «Вы несколько столетий казните людей, которых признаете преступниками. Что же, перевелись они? Не перевелись, а количество их только увеличилось и теми преступниками, которые развращаются наказаниями, и ещё теми преступниками-судьями, прокурорами, следователями, тюремщиками, которые сидят и наказывают людей». Нехлюдов понял теперь, что общество и порядок вообще существует не потому, что есть эти узаконенные преступники, судящие и наказывающие других людей, а потому, что, несмотря на такое разращение, люди все-таки жалеют и любят друг друга.»

Комментарий о наказаниях

Мысли Толстого-Нехлюдова, пришедшие обоим от чтения Нового Завета, просты и неотразимы: во-первых, грешны все, и не в праве одни грешники наказывать других и, во-вторых, как показывает опыт человечества, преступления не искореняются наказаниями, а наказание «не только бесполезно, но вредно и, кроме того, безнравственно и жестоко». Однако, то, что верно в принципе, не всегда своевременно и может оказаться совсем неприемлемым в реальной жизни — ведь с момента проповеди прошло уже 20 веков, а люди продолжают сочинять законы, нарушать их и карать за нарушения. Вряд ли было бы разумным вслед за Толстым пренебречь громадным опытом человечества, пусть очень и очень грешным, и вдруг, как будто какие-то серьёзнейшие обстоятельства решительно изменились, перейти к всепрощению. Хочется надеяться, что хотя бы в отдалённой перспективе оно станет возможным, а пока этого нет, стоит обратиться к вполне доступному устранению самых очевидных, вопиющих недостатков системы наказания.

Читая результаты сегодняшних российских процессов, нельзя не поразиться громадным срокам заключения, которые требуют прокуроры и в почти полном соответствии с их требованиями отмеряют судьи. И это происходит при том, что и те, и другие прекрасно знают и жестокость, и, главное, бессмысленность содержания людей в российских лагерях. Изначальный советский смысл их, провозглашённый в 1920-х годах, — временная изоляция преступников и перевоспитание

их – давно утрачен, лагерь превратился в крайне низко производительное предприятие жёстко подневольного почти не оплачиваемого труда, принуждение к которому основано на системе издевательских наказаний.

Сейчас многие считают применяемую в России длительность заключения чрезмерной. Мне же кажется, что по большинству преступлений и прегрешений её полезно было бы сократить в несколько раз, сделав вместе с тем заключение непременно осмысленным и обеспечивая вслед за ним патронирование бывшего заключённого и контроль за ним в течение длительного времени. Так сказать, и в этом деле нужно бы поступиться количеством за счёт резкого повышения качества.

Сокращение сроков заключения вовсе не означает, с моей точки зрения, всеобщего послабления. Но прежде, чем обсудить крайности наказаний, нельзя пройти мимо потрясающего текста Толстого.

О смертной казни

Рассказ этапированного революционера (разд. VI третьей части):

«В особенности полюбил Нехлюдов шедшего с той партией, к которой была присоединена Катюша, ссылаемого в каторгу чахоточного молодого человека Крыльцова. (...) Крыльцов, разговорившись, рассказал ему свою историю и как он стал революционером. История его до тюрьмы была очень короткая. Отец его, богатый помещик южных губерний, умер, когда он был ещё ребёнком. Он был единственный сын, и мать воспитывала его. Учился он легко и в гимназии и в университете и кончил курс первым кандидатом математического факультета. Ему предлагали оставаться при университете и ехать за границу. Но он медлил. Была девушка, которую он любил, и он подумывал о женитьбе и земской деятельности. Всего хотелось, и ни на что не решался. В это время товарищи по университету попросили у него денег на общее дело. Он знал, что это общее дело было революционное дело, которым он тогда совсем не интересовался, но из чувства товарищества и самолюбия, чтобы не подумали, что он боится, дал деньги. Взятые деньги попались; была найдена записка, по которой узнали, что деньги даны Крыльцовым; его арестовали, посадили сначала в часть, а потом в тюрьму.

— В тюрьме, куда меня посадили, — рассказывал Крыльцов Нехлюдову (он сидел с своей впалой грудью на высоких нарах, облокотившись на колени, и только изредка взглядывал блестящими, лихорадочными, прекрасными, умными и добрыми глазами на Нехлюдова), — в тюрьме этой не было особой строгости: мы не только перестукивались, но и ходили по коридору, переговаривались, делились провизией, табаком и по вечерам даже пели хором. У меня был голос хороший. Да. Если бы не мать, — она очень убивалась, — мне бы хорошо было в тюрьме, даже приятно и очень интересно. Здесь я познакомился, между прочим, с знаменитым Петровым (он потом зарезался стеклом в крепости) и ещё с другими. Но я не был революционером. Познакомился я также с двумя соседями по камере. Они попались в одном и том же деле с польскими прокламациями и судились за попытку освободиться от конвоя, когда их вели на железную дорогу. Один был поляк Лозинский, другой — еврей, Розовский — фамилия. Да. Розовский этот был совсем мальчик. Он говорил, что ему семнадцать, но на вид ему было лет пятнадцать. Худенький, маленький, с блестящими черными глазами, живой и, как все евреи, очень музыкален. Голос у него ещё ломался, но он прекрасно пел. Да. При мне их обоих водили в суд. Утром отвели. Вечером они вернулись и рассказали,

что их присудили к смертной казни. Никто этого не ожидал. Так неважно было их дело — они только попытались отбиться от конвоя и никого не ранили даже. И потом так неестественно, чтобы можно было такого ребёнка, как Розовского, казнить. И мы все в тюрьме решили, что это только, чтобы напугать, и что приговор не будет подтвержден. Поволновались сначала, а потом успокоились, и жизнь пошла по-старому. Да. Только раз вечером подходит к моей двери сторож и таинственно сообщает, что пришли плотники, ставят виселицу. Я сначала не понял: что такое? какая виселица? Но сторож-старик был так взволнован, что, взглянув на него, я понял, что это для наших двух. Я хотел постучать, переговорить с товарищами, но боялся, как бы те не услышали. Товарищи тоже молчали. Очевидно, все знали. В коридоре и камерах весь вечер была мёртвая тишина. Мы не перестукивались и не пели. Часов в десять опять подошёл ко мне сторож и объявил, что палача привезли из Москвы. Сказал и отошёл. Я стал его звать, чтобы вернуться. Вдруг слышу, Розовский из своей камеры через коридор кричит мне: «Что вы? зачем вы его зовёте?» Я сказал что-то, что он табак мне приносил, но он точно догадывался и стал спрашивать меня, отчего мы не пели, отчего не перестукивались. Не помню, что я сказал ему, и поскорее отошёл, чтобы не говорить с ним. Да. Ужасная была ночь. Всю ночь прислушивался ко всем звукам. Вдруг к утру слышу — отворяют двери коридора и идут кто-то, много. Я стал у окошечка. В коридоре горела лампа. Первый прошёл смотритель. Толстый был, казалось, самоуверенный, решительный человек. На нем лица не было: бледный, понурый, точно испуганный. За ним помощник — нахмуренный, с решительным видом; сзади караул. Прошли мимо моей двери и остановились перед камерой рядом. И слышу — помощник каким-то странным голосом кричит: «Лозинский, вставайте, надевайте чистое бельё». Да, потом слышу, завизжала дверь, они прошли к нему, потому слышу шаги Лозинского: он пошёл в противоположную сторону коридора. Мне видно было только смотрителя. Стоит бледный и расстёгивает и застёгивает пуговицу и пожимает плечами. Да. Вдруг точно испугался чего, посторонился. Это Лозинский прошёл мимо него и подошёл к моей двери. Красивый был юноша, знаете, того хорошего польского типа: широкий, прямой лоб с шапкой белокурых вьющихся тонких волос, прекрасные голубые глаза. Такой цветущий, сочный, здоровый был юноша. Он остановился перед моим окошечком, так что мне видно было все его лицо. Страшное, осунувшееся, серое лицо. «Крыльцов, папиросы есть?» Я хотел подать ему, но помощник, как будто боясь опоздать, выхватил свой портсигар и подал ему. Он взял одну папироску, помощник зажёт ему спичку. Он стал курить и как будто задумался. Потом точно вспомнил что-то и начал говорить: «И жестоко и несправедливо. Я никакого преступления не сделал. Я...» В белой молодой шее его, от которой я не мог оторвать глаз, что-то задрожало, и он остановился. Да. В это время, слышу, Розовский из коридора кричит что-то своим тонким еврейским голосом. Лозинский бросил окурочек и отошёл от двери. И в окошечке появился Розовский. Детское лицо его с влажными черными глазами было красно и потно. На нем было тоже чистое бельё, и штаны были слишком широки, и он все подтягивал их обеими руками и весь дрожал. Он приблизил своё жалкое лицо к моему окошечку: «Анатолий Петрович, ведь правда, что доктор прописал мне грудной чай? Я нездоров, я выпью ещё грудного чаю». Никто не отвечал, и он вопросительно смотрел то на меня, то на смотрителя. Что он хотел этим сказать, я так и не понял. Да. Вдруг помощник сделал строгое лицо и опять каким-то визгливым голосом закричал: «Что за шутки? Идём».

Розовский, очевидно, не в силах был понять того, что его ожидало, и, как будто торопясь, пошёл, почти побежал вперёд всех по коридору. Но потом он упёрся — я слышал его пронзительный голос и плач. Началась возня, топот ног. Он пронзительно визжал и плакал. Потом дальше и дальше, — зазвенела дверь коридора, и все затихло... Да. Так и повесили. Верёвками задушили обоих. Сторож, другой, видел и рассказывал мне, что Лозинский не противился, но Розовский долго бился, так что его втащили на эшафот и силой вложили ему голову в петлю. Да. Сторож этот был глуповатый малый. «Мне говорили, барин, что страшно. А ничего не страшно. Как повисли они — только два раза так плечами, — он показал, как судорожно поднялись и опустились плечи, — потом палач подёрнул, чтобы, значит, петли затянулись получше, и шабаш: и не дрогнули больше». «Ничего не страшно», — повторил Крыльцов слова сторожа и хотел улыбнуться, но вместо улыбки разрыдался.

Долго после этого он молчал, тяжело дыша и глотая подступавшие к его горлу рыдания.

— С тех пор я и сделался революционером. Да, — сказал он, успокоившись, и кратко досказал свою историю.

Он принадлежал к партии народовольцев и был даже главою дезорганизационной группы, имевшей целью терроризировать правительство так, чтобы оно само отказалось от власти и призвало народ. С этой целью он ездил то в Петербург, то за границу, то в Киев, то в Одессу и везде имел успех. Человек, на которого он вполне полагался, выдал его. Его арестовали, судили, продержали два года в тюрьме и приговорили к смертной казни, заменив её бессрочной каторгой.

В тюрьме у него сделалась чахотка, и теперь, в тех условиях, в которых он находился, ему, очевидно, оставалось едва несколько месяцев жизни, и он знал это и не раскаивался в том, что он делал, а говорил, что, если бы у него была другая жизнь, он её употребил бы на то же самое — на разрушение того порядка вещей, при котором возможно было то, что он видел.

История этого человека и сближение с ним объяснили Нехлюдову многое из того, чего он не понимал прежде.»

Еще комментарий о наказаниях и мнение В.Т. Шаламова

Даже под впечатлением этой жуткой истории я всё же не становлюсь сторонником полной отмены смертной казни. Ведь периодически появляются преступники, на исправление которых никакой надежды нет, их поступки ясно говорят о том, что они — монстры, нелюдь. Их приговаривают к невыносимым срокам заключения или к пожизненному заключению. Получается, что общество берёт на иждивение эту нелюдь, обеспечивает, так сказать, человеческое отношение к нелюди. А на практике это означает, что общество нанимает персонал, чтобы эту нелюдь охранять, поить, кормить, одевать, мыть, лечить и т.п. И мне кажется, не так уж хорошо обрекать своих граждан на общение с нелюдью. Что происходит с психикой этого персонала? Не лучше ли, если есть средства на содержание этого персонала, использовать его служителями в зоопарках или для ухода за детьми, за бедными и больными согражданами? Мне кажется, что общество должно найти в себе мужество посредством законов поручить своим судьям, пусть это будут судьи особенно высокой квалификации, и присяжным, особенно проницательным и ответственным, в некоторых случаях назвать страшные вещи своим именем,

нелюдь назвать нелюдью, и приговорить её к смерти, что через некоторое время должно быть с облегчением исполнено.

Относительно осмысленности заключения прислушаемся к мнению невольного и неоспоримого знатока советской пенитенциарной системы В.Т. Шаламова, который подарил его своему персонажу Э.П. Берзину и затем зафиксировал полную безрезультатность:

«Все заключённые должны были работать каждый по своей специальности, а если специальности нет – лагерь даёт её – и не только краткосрочными курсами, а основательной учёбой. <...> Берзинская идея была раздавлена в болотах Москанала, где уже ни о каких мастерских, ни о какой учёбе не было речи, а говорили только о процентах, о выработке, о физической силе... <...> О переделке человека говорить перестали... <...> В арестантской рабочей силе, в рабском труде видели спасение от всех зол.»

Попутно. Сведения о внушающих оптимизм делах высказаны в наметках документально-художественного сочинения об Э.П. Берзине, и эти дела приписаны Берзину же, вероятно, не без оснований. Цитируется по книге Варлам Шаламов «Воспоминания», М., издательства Олимп, Апрель, АСТ, 2001, стр. 266, 267. Упомянутый Берзин во время гражданской войны командовал латышской дивизией, затем – большой чин в ЧК (успех в раскрытии «заговора Локкарта»), затем возглавлял громадные стройки на Северном Урале и на Колыме, где использовались массы заключённых. Расстрелян в 1938 г.

Заключённого, если он не имеет и ещё не приобрёл в заключении востребованной обществом профессии, опасно и бесчеловечно выпускать на волю, но и эта воля не должна быть вровень с волей не репрессированного человека. Представляется необходимым запрет заниматься на воле той прежней деятельностью, которая привела к преступлению. Если заключённый ничего другого не умеет, нужно обучить его чему-то подходящему и востребованному обществом, а потом контролировать, что он занят именно этим, а если хочет не этим, а чем-то другим, но не запрещённым, то на то есть уважительная причина.

Попутно. Простой хорошо известный пример: можно ли усмотреть хоть какую-то целесообразность в том, что М. Ходорковский пробыл в заключении 11 лет и занимался в лагере пошивом рабочих рукавиц? Не будем обсуждать здесь вопрос о его виновности или невиновности, допустим, что он виновен. Но и в этом случае разве мало того, что он был отлучён от своего громадного производства, которое поднял из руин и которому был безгранично предан, и что потерял большое состояние, используемое вовсе не паразитически, разве мало было бы, если уж хотели показательно обвинить и обобрать, назначить ему года два лагеря или условное наказание, разве он мог быть «перевоспитан» в ходе изнурительных и бессмысленных судебных процессов и сиденья в лагере над рукавицами, разве удивительно, что заключение превратило его из успешнейшего предпринимателя в оппозиционного общественного деятеля? Наконец, разве не мог он быть использован во время заключения в какой-то деятельности, соответствующей его организационному или инженерному таланту и полезной для общества?

Судя по встречающейся в печати информации о расположении большинства лагерей в отдалённой глуши, в них никакая профессионализация заключённых невозможна. Чтобы организовать обучение, лагерь должен быть не спрятан, как повелось с 1930-х годов, а расположен в окрестности города, где найдутся квалифицированные преподаватели и, плюс к этому, возможен внимательный общественный контроль. Вывод лагерей из глуши на свет бесценен и тем, что заодно воспрепятствует образованию династий и кланов в разлагающей профессии охранника или, по крайней мере, снизит потребность в них. Дурная клановость, династичность неминуемо складывается вокруг лагеря, удалённого от людей, занятых нормальным производительным трудом. Там другой работы практически нет, и на лагерь с его заключёнными привыкают смотреть просто как на принадлежащий служащим источник кормления, вроде свинофермы.

Конечно, совершенствование системы законов, судов, лагерей и послелагерного патронирования требует от общества многого: прежде всего немалой решимости, затем организационных усилий и, конечно, средств. И всё-таки на это придётся пойти: российское общество поймёт, что как тем, кто наказуем, так и тем, кто берёт на себя наказывать, иначе грозит неминуемое одичание. И есть надежда, что это понимание в недалёком будущем вызовет шаги по искоренению зла.

О политических

Знакомство с политическими заключёнными (разд. V и VI третьей части):

«... Нехлюдову, вследствие перевода Масловой к политическим, пришлось познакомиться с многими политическими, сначала в Екатеринбурге, где они очень свободно содержались все вместе в большой камере, а потом на пути с теми пятью мужчинами и четырьмя женщинами, к которым присоединена была Маслова. Это сближение Нехлюдова с ссылаемыми политическими совершенно изменило его взгляды на них.

С самого начала революционного движения в России, и в особенности после Первого марта, Нехлюдов питал к революционерам недоброжелательное и презрительное чувство. Отталкивала его от них прежде всего жестокость и скрытность приёмов, употребляемых ими в борьбе против правительства, главное, жестокость убийств, которые были совершены ими, и потом противна ему была общая им всем черта большого самомнения. Но, узнав их ближе и все то, что они часто безвинно перестрадали от правительства, он увидел, что они не могли быть иными, как такими, какими они были.

Как ни ужасно бессмысленны были мучения, которым подвергались так называемые уголовные, всё-таки над ними производилось до и после осуждения некоторое подобие законности; но в делах с политическими не было и этого подобия, как это видел Нехлюдов на Шустовой и потом на многих и многих из своих новых знакомых. С этими людьми поступали так, как поступают при ловле рыбы неводом: вытаскивают на берег все, что попадает, и потом отбирают те крупные рыбы, которые нужны, не заботясь о мелкоте, которая гибнет, засыхая на берегу. Так, захватив сотни таких, очевидно не только не виноватых, но и не могущих быть вредными правительству людей, их держали иногда годами в тюрьмах, где они заражались чахоткой, сходили с ума или сами убивали себя; и держали их только потому, что не было причины выпускать их, между тем как, будучи под рукой в тюрьме, они могли понадобиться для разьяснения какого-нибудь вопроса при следствии. Судьба всех этих часто даже с правительственной точки зрения невинных людей зависела от произвола, досуга, настроения жандармского, полицейского офицера, шпиона, прокурора, судебного следователя, губернатора, министра. Соскучится такой чиновник или желает отличиться — и делает аресты и, смотря по настроению своему или начальства, держит в тюрьме или выпускает. А высший начальник, тоже смотря по тому, нужно ли ему отличиться, или в каких он отношениях с министром, — или ссылает на край света, или держит в одиночном заключении, или приговаривает к ссылке, к каторге, к смерти, или выпускает, когда его попросит об этом какая-нибудь дама.

С ними поступали, как на войне, и они, естественно, употребляли те же самые средства, которые употреблялись против них. И как военные живут всегда в атмо-

сфере общественного мнения, которое не только скрывает от них преступность совершаемых ими поступков, но представляет эти поступки подвигами, — так точно и для политических существовала такая же, всегда сопутствующая им атмосфера общественного мнения их кружка, вследствие которой совершаемые ими, при опасности потери свободы, жизни и всего, что дорого человеку, жестокие поступки представлялись им также не только не дурными, но доблестными поступками. Этим объяснялось для Нехлюдова то удивительное явление, что самые кроткие по характеру люди, неспособные не только причинить, но видеть страданий живых существ, спокойно готовились к убийствам людей, и все почти признавали в известных случаях убийство, как орудие самозащиты и достижения высшей цели общего блага, законным и справедливым. Высокое же мнение, которое они приписывали своему делу, а вследствие того и себе, естественно вытекало из того значения, которое придавало им правительство, и той жестокости наказаний, которым оно подвергало их. Им надо было иметь о себе высокое мнение, чтобы быть в силах переносить то, что они переносили.

Узнав их ближе, Нехлюдов убедился, что это не были сплошные злодеи, как их представляли себе одни, и не были сплошные герои, какими считали их другие, а были обыкновенные люди, между которыми были, как и везде, хорошие, и дурные, и средние люди. Были среди них люди, ставшие революционерами потому, что искренно считали себя обязанными бороться с существующим злом; но были и такие, которые избрали эту деятельность из эгоистических, тщеславных мотивов; большинство же было привлечено к революции знакомым Нехлюдову по военному времени желанием опасности, риска, наслаждением игры своей жизнью — чувствами, свойственными самой обыкновенной энергической молодёжи. Различие их от обыкновенных людей, и в их пользу, состояло в том, что требования нравственности среди них были выше тех, которые были приняты в кругу обыкновенных людей. Среди них считались обязательными не только воздержание, суровость жизни, правдивость, бескорыстие, но и готовность жертвовать всем, даже своею жизнью, для общего дела. И потому те из этих людей, которые были выше среднего уровня, были гораздо выше его, представляли из себя образец редкой нравственной высоты; те же, которые были ниже среднего уровня, были гораздо ниже его, представляя из себя часто людей неправдивых, притворяющихся и вместе с тем самоуверенных и гордых. Так что некоторых из своих новых знакомых Нехлюдов не только уважал, но и полюбил всей душой, к другим же оставался более чем равнодушен.»

В разд. VI Толстой рассказал несколько историй. Среди них выше цитированная история Крыльцова, революционера по случаю.

О вполне сознательном революционере рассказано следующее:

«Он принадлежал к партии народовольцев и был даже главою дезорганизационной группы, имевшей целью терроризировать правительство так, чтобы оно само отказалось от власти и призвало народ. С этой целью он ездил то в Петербург, то за границу, то в Киев, то в Одессу и везде имел успех. Человек, на которого он вполне полагался, выдал его. Его арестовали, судили, продержали два года в тюрьме и приговорили к смертной казни, заменив её бессрочной каторгой.

В тюрьме у него сделалась чахотка, и теперь, в тех условиях, в которых он находился, ему, очевидно, оставалось едва несколько месяцев жизни, и он знал это и не раскаивался в том, что он делал, а говорил, что, если бы у него была дру-

гая жизнь, он ее употребил бы на то же самое — на разрушение того порядка вещей, при котором возможно было то, что он видел.

История этого человека и сближение с ним объяснили Нехлюдову многое из того, чего он не понимал прежде.»

Комментарий о революционерах

Признаюсь, то, что Толстой вник в совершенно современные ему протестные события, в характеры участников этих событий, явилось для меня неожиданностью. Лет 50 назад, когда я первый раз читал этот роман, меня по легкомыслию молодости заинтересовала почти исключительно любовная, психологическая сторона описываемой истории, а сторона общественная не произвела впечатления и не осталась в памяти. Произошло это то ли по тому же легкомыслию, то ли происходившее согласно Толстому тогда не соотносилось достаточно близко в моих глазах с происходящим вокруг меня. Я не понимал, что описано преддверие революции. Теперь же я вижу, что Толстой обнаружил и воссоздал в романе повторяющуюся российскую картину, и роман шагнул из того века в этот.

В описанных Толстым нравах содержания заключённых особенно обращают на себя моё внимание два обстоятельства.

Во-первых, Толстой не описывает преднамеренных издевательств над заключёнными со стороны охранников, самодеятельного садизма или корыстных принуждений, и этим те условия кажутся человечнее существующих теперь.

Во-вторых, Толстой не интересуется специально разницей в положении уголовных заключённых и политических, но современный глаз не может не обратить на неё внимания, они несколько отделены друг от друга, политические так и называются политическими, и к ним (они же образованные!) отношение охранников более почтительное. Как далеко это от советского времени, когда политических дополнительно угнетали, нарочно смешивая с уголовными, или как утверждает В.Т. Шаламов на стр.138 книги уже упомянутых воспоминаний:

«Для Сталина не было лучшей радости, высшего наслаждения во всей его преступной жизни, как осудить человека за политическое преступление по уголовной статье».

Судя по публикациям, сегодня сходная практика: всевозможным оппозиционерам власти придумывают уголовные прегрешения вроде финансовых манипуляций, возни с наркотиками или уж совсем странного «неподчинения полиции», а суды как бы этому верят и вполне всерьёз присуждают оппозиционеров к немалым отсидкам как уголовников и вместе с уголовниками. Благодаря этой практике провозглашается, что политических заключённых в стране нет, и все, кроме так созданных уголовников, довольны.

Несколько итоговых слов.

Толстой заканчивал в 1899 году работу над романом в страстной надежде на нравственное воскресение главных персонажей и, может быть, всего общества. Он ещё не мог знать, к чему приведёт описанное им состояние этого общества, он только тревожился и гневался. Толстой бесконечно велик и тем, что, будучи уже очень старым по тем временам человеком (71 год), он сумел разглядеть, понять важность темы о российской тюрьме и революционерах, и это поразительно. А мы-то, умники по сравнению с Толстым, знаем дальнейшее, знаем о предстоящих стране военных катастрофах, о продолжении социальной и сословной разобщён-

ности, о росте межнациональной напряжённости, мы знаем и то главное, что до репетиции страшных событий оставалось всего 6 лет, а до их катастрофического осуществления тоже не долго – 18 лет.

С самого момента создания роман «Воскресение» слишком актуален, и поэтому не удивительно, что он считается официальной критикой, в образовательных российских учреждениях второсортным толстовским сочинением, для нас недостаточно высокохудожественным плодом, как бы сказать, плодом его старческой слабости и наивной ангажированности.

Как часто потомки из далёкого будущего видят в прошлом такого рода картину: морской лайнер прёт на айсберг, катастрофа неминуема, но участники события этого не понимают, не пытаются или не находят сил изменить гибельную траекторию. Потомки сочувствуют предкам, жалеют и себя, наследников катастрофы, но прошлое уже не изменить, да и, на поверку, сами влекомы по подобной же траектории.

23.09.2017

28.07.2018